

а с презрением, – видно, не дотратил его во время пения «рёвы-коровы», – может быть, этого презрения ему хватит до конца Олежкиных дней. А Олежка и не понял, вкусно или нет. Вот пауки так едят мух, им, наверно, вкусно. А люди мух не едят. Это всем известно.

А Кольбен, запрокинув голову и сладко жмурясь, принялся глубо-

комысленно жевать – показывал, как Олежка ест муху. Олежка от всей души закатился смехом, выставляя напоказ полный рот белых щенячьих зубов. Свечечки в его глазах зажглись привычным восхищением. Только смеялся он чересчур отрывисто.

Олежкина душа в те времена тоже походила на воздушный шарик.

122

Божественный глагол

СЛУЧИЛОСЬ это у бабушки. Не помню, сколько мне было лет, но меня ещё занимало, как далеко я сумею дотянуться ногой со стула, подбоченясь сплетёнными с его плетёной спинкой руками. И мне ещё никак не удавалось оторвать взгляд от проплетённых чёрно-фиолетовыми корнями бабушкиных рук, споро сматывавших в один большой клубок мохнатые нитки из нескольких клубков поменьше, вертевшихся у её ног в облупленной эмалированной миске. Один, покрупнее прочих, смотанный и сам из двух ниток – коричневой и белой, – штриховано-рябой, как колорадский жук, вёл себя ещё посолиднее, зато остальные, мелкота, прыгали бесенятами, скакали друг через дружку, кидались на стенку, пытаясь выскочить наружу.

Поведение клубков отбрасывало и на бабушку некий отсвет легкомыслия, но лицо её, как всегда, выражало одну только примирённость. Непонятно было даже, что ей всё-таки подарить на сегодняшний день рождения.

Кажется, лицо у неё было тёмное, иконописное, высветлявшееся лишь

светлым его выражением. Выражение помнится ещё и сейчас, а лица давно уже нет. Да, подзывала, да, наливала, да, любовалась, да, будто бог весть какое лакомство, совала конфетку-подушечку, выдирая её из поллитровой банки, – всё это было, а лица уже нет...

Самый маленький чёрный клубок ухитряется-таки выскочить из миски и беснуется на полу. Я бросаюсь ловить его – я ещё недалеко ушёл от котёнка, – и тут меня озаряет совершенно взрослая мысль: я напишу бабушке стих!

Про что, с какой такой стати, сумею ли – что за пустяки! Кому и писать стихи, как не мне? И через минуту я уже пятился к выходу, пряча за спиной лист бумаги и огрызок химического карандаша.

В дверях я напоследок окинул бабушкину склонённую фигуру оценивающим взглядом портного, намеревающегося шить без примерки. Позади бабушки на оконном стекле, на ниточке, как прищепки, сушились грибы – чёрные против света. Нотные значки, запятые, холерные вибриончики – арабская вязь.

На мой взгляд, бабушка подняла седую голову, и в глазах её тут же ожило неотступное беспокойство, не захворал ли кто, не проголодался ли, – безнадежное беспокойство, всю жизнь она беспокоилась, а никого ни от чего не уберегла – ни от голода, ни от горя, ни от смерти.

И я из дверей покровительственно сделал ей ручкой: не тушуйся, мол, я сейчас всё устрою, – шагнул в сторону, чтобы она не заметила моих поэтических орудий, и рванул напрямик за сарай: овладевшая мною стихия и без моего ведома знала, что творцу необходимо уединение.

Лица бабушкиного не помню, а вот стол так и стоит в глазах: сколоченный наспех, но надолго, кособокий, но крепкий, трава вокруг вытоптана в прах, а окурки в него тщательно втёрты, образуя странное тиснение, – так выражают своё волнение болельщики, образуя два-три слоя вокруг вечернего домино. На столе ещё валяются несколько чёрных извивающихся червячков – до конца сгоревших спичек, – это Закутаев так прикуривает: спичку не гасит, а ждёт, пока обнажится из пламени меркнущая головка, потом берет её, пшикнувшую, посплюнявленными пальцами и, заслоня ладонью, ждёт, торжествуя и тревожась, когда пламя сойдёт на нет.

Бабушка называет его соболезнующе – Закутаюшка, но в лице его нет ничего от умильных суффиксов «ушк»-«юшк», когда он шагает со службы в своей чёрной форменной тужурке – настоящая ветчина в форме. А когда он рассказывает, зловеще супя брови и хватая невидимую трубку: «Охрана мебельной фабрики слушает!» – то совсем уж непонятно, при чём тут Закутаюшка.

Меж тем я готовился к сочинительству так сноровисто, будто занимался этим всю жизнь. Прежде всего следовало погрузиться в поэтический транс, отрешиться от всего мирского, уйти из его плотной плотской атмосферы, густой, как в столовке или на автовокзале. Удалиться от мира за сарай – даже

этого было слишком мало, что-нибудь всё равно за тобой потащится.

Вот куст – хоть и совсем сквозной, а ухитрился-таки поднять, да так и держит на себе тень сарая, которая без него лежала бы на земле. Вот бочком проскользнула чёрная собака, угнетаемая стыдом и общим презрением, но прикидывающаяся, будто она всегда готова хоть жалко, но огрызнуться. Где-то с гулким звоном, словно из железной бочки, лают другие собаки. Из сарая слышны полувздохи-полустоны – это дедушка шаркает рашпилем по дереву.

Звучит всё, не только хвалёная раковина: прижмись ухом крепче к коре любого дерева и услышишь, как где-то в глубине разогревают могучий авиационный мотор.

Всё начинает звучать, только прижмись крепче. А может, это ты сам начинаешь звучать. И если хочешь отсечь от себя весь этот мирской галдёж, ни к чему не прижимайся, ни на что не засматривайся, ни во что не вдумывайся. И грубая телесная сторона мира понемногу станет меркнуть, умолкать...

Но сам ты внутри себя ещё опаснее. Память, только её зачерпни, всколыхнётся, словно бак с кислыми щами, – и так шибанёт оттуда мирским духом – хоть топор вешай. Отрешись и от себя, и голова потихоньку наполнится пустотой, станет легче, больше, воздушнее, подобно аэростату, и понемногу обнаружится, что атмосфера заряжена поэтическим электричеством – рифмами, ритмами, мелодиями читанных и нечитанных, и даже неписанных стихотворений, песен и басен, и какие-то внутренние антенны уже прощупывают этот поэтический эфир, какие-то переменные ёмкости пытаются подстроиться к нужным частотам, – минута, и стихи свободно потекут из-под моего карандаша.

Пока ещё только подступал гул мировых поэтических пространств, врывались куски чужих передач – что-то вроде: «Неси меня ветер за дальние горы» или «О чём шумите вы, колосья?», – но пробудившийся во мне инстинкт медиума отвергал их с порога. Настройка

Однако, пробежавшись по волнистым строчкам, быстро разыскал в них убитого.

И тогда снова сделал бабушке ручкой, бодрой припрыжкой ускакал за сарай, выкрасив фиолетовым угол рта, обгрыз конец карандаша, чтобы оголить грифель, – бегать за ножом было некогда, – и, как зрелый профессионал, уже без участия дилетантских высших сфер, всяких там муз и граций, сотворил новый оптимистический финал, в котором, прослышав в его груди последние удары, бойца уж подобрали санитары, и теперь уж он здоров, благодарит всех докторов, что жизнь ему спасли, благодарит и санитаров, что с поля боя унесли.

Но когда я явился за добавочным триумфом, бабушка уже почему-то лежала на кровати – лежала как-то косо, ноги касались края, – наверно, потому, что только прилегла, а чуть «полутечет», так тотчас же и встанет.

Я благодушно зачитал бабушке новую концовку и покровительственно взглянул на неё: ну, что, мол, – а ты

боялась! Но бабушка смотрела на меня обычным своим взглядом – ласково-ласково, но как будто в последний раз.

– Молодец какой, умничка! – похвалила она меня слабым голосом (видно, и впрямь ей было худо, – впрочем, иначе она бы и не легла) и, подтянув меня к себе, неловко, краем губ поцеловала в лоб. – Ну, иди, поиграй.

И осталась лежать – одна, в своём беленьком платочке, – прилегла переждать боль, чтобы, как «полутечет», снова приняться за дела.

Она всегда так лежала, как будто прилегла на минутку. Она и в гробу так лежала.

И вот теперь у неё уже нет лица.

А я так никогда ни о чем её и не спросил – ведь у стариков в жизни и не могло быть ничего интересного.

А спросил бы, может, во мне бы что-то и откликнулось, не такая гулкая пустота, что отозвалась эфирному мусору.

Ведь петь может только тот, кто служит чьим-то эхом. Кто слышит и отзывается.

Санкт-Петербург

